



Чтеная книга



Имя Григория Александровича Сабурова (1964–2002) практически не известно широкому кругу читателей. Возможно, истинные ценители «изящной словесности» и обратили в своё время внимание на три его рассказа в «толстых» петербургских журналах «Звезда» (2002, № 9) «Чмо», «Сирень и дедушка» и «Аврора» (2005, №2) «Бергерман», опубликованных уже после его трагической гибели 25 августа 2002 года.

Все рассказы – из единственной, полностью завершённой книги Григория Сабурова: «Пешкой по волнам. Записки запасного морпеха» (всего семь рассказов). Ещё он всю жизнь писал стихи (осталось несколько десятков стихотворений), к которым относился не как к серьёзной литературной работе, а, скорее, как к ещё одной форме проживания повседневности.

В последний период жизни Григорий Сабуров начал писать повесть о себе (остались черновики); хотел продолжить серию рассказов о «чудиках» – простых людях, странноватых и интересных; вынашивал планы книги о драматической судьбе русского интеллигента в советскую эпоху – о жизни своего отца, «странствующего» театрального режиссёра.

Мы предлагаем вниманию читателей два рассказа из «морпеховских записок» Григория Сабурова: «Командыр» и «Санчасть». Проза Сабурова (на первый взгляд, вписываясь в «армейскую» тематику современной русской литературы) поражает уникальностью стиля, «испытывающего» смыслы жизни и «преображающего» её, и исключительным чувством ответственности за писательское слово о мире и человеке, столь свойственным когда-то русской литературе.

КОМАНДЫР!..

Морозной ночью поздней осени в коммутаторной в/ч 40159 дежурил я, Сергей Веточкин, «карась» морской пехоты, блаженствующий сочинитель. Видимость оконных стёкол растворилась в ночной синеве; медленно, чуть слышно звеня, падали с липы у окна последние чёрные листья и летела сквозь ночь маленькая коммутаторная, ставшая светлым и живым приютом человеческого существа, то есть моим приютом. Я не оставался в долгу – я насыщал коммутаторную трепетным придыханием.

Томясь вдохновением, я писал!

Сборник ранних рассказов Бунина заветно блеснул новой обложкой. Над кружкой с чифирём клубился медленный пар. Пухлая тетрадь распах-

нулась передо мной зарешёченной белизной, и вздрагивала, извивалась в моей руке искусанная шариковая ручка.

«...Осознание мира и себя в мире возникает внезапно, болезненно и сладостно. Так, наверное, прорвав шелуху семени, вонзается в землю острый зелёный язычок — травяной росток... Распавшийся коричневыми хлопьями сумрак, кружево ослепительных красок, боль в глазах, словно десятки, сотни соринок, влетевших разом... Затем тишина, мгновение глубокой тишины: слышится только движение век и шорох остановившегося времени. Через мгновение ты понимаешь, что видишь солнечные лучи, разлитые на досках пола, тени, качающиеся в сдавленных вещами углах... видишь, как под деревьями, которые держат небо, гуляют прекрасные люди-великаны, твои родители. Ты появился! Ты есть! Мало того, ты можешь видеть и отражать увиденное. Отражённое в тебе имеет сокровенный и тайный смысл — твоё могущество и исключение! Задыхаясь от радости, ты бежишь, ты стараешься увидеть как можно больше, всё... и замираешь перед зеркалом. Чувство родственной тайны поражает тебя, желание разгадать эту тайну, твою и „глаза без век“, становится самым важным в твоей жизни...»

Если верить беззастенчиво памятной даме, подруге моей бабушки, в возрасте четырёх лет на вопрос о том, кем я буду, когда вырасту, я нагло отвечал: «Стал бы, тётя, писателем, только букв очень много».

В школьные годы желание писать или пропало вовсе, или затерялось в глубине души. Учителя литературы сетовали на сумбур и аляповатость моих сочинений, а я не расстраивался, не без основания сетуя на серость самих учителей.

В политехническом институте, куда я поступил, что называется, по течению, на лекциях о теоремах Вейерштрасса и свойствах электромагнитных полей мной сочинялись бойкие ёрнические рифмоплетения вперемешку с туманно философическими стихотворными уродцами. Потом пришла первая любовь, умилившая и унизившая меня дребезжанием художочной лирики.

Студенческое рифмоплётство не было следствием раздутого тщеславия: мне вполне хватало маленькой славы среди однокурсников и восторженного блеска в подслеповатых глазах возлюбленной. Значительным человеком я почувствовал себя лишь однажды, когда умопомрачительно полногрудая дева, предмет сексуального томления всего факультета, сказала обволакивающим баритоном: «Ах! Серёжа... Какая у тебя голова... Бриллиантовая!..»

Счастья тебе, дева, за хорошие слова!

Помню призывной апрель, самый противный из противных вообще весенних ленинградских дворов — военкоматовский... Было очень темно. Горела одна лампочка у подъезда военкомата, и свет пробивавшейся сквозь тучи луны показывал, как ходят в небе корявые ветки тополей. Слышался скрип невидимых качелей, бульканье разливаемой и выпиваемой водки, приглушённые сырým воздухом голоса, то срывающиеся на крик, то обрывающиеся плачем. Мелькали, топтались и таяли во тьме силуэты, окружённые серыми исподами спящих домов.

Рядом со мной стояла моя возлюбленная, девушка Люба. Она плакала, не опуская глаз, в которых исчезли от слёз умные омутки.

— Ты-ы... Серёжа... ты-ы... — шептала она.

Тут первый раз в жизни я почувствовал, что буду, непременно буду сочинителем. Измученная душа замерла, наполнилась невесть откуда взявшимся пространством. В нём зашумели, заходили плохо различимые, но живые сумеречные люди памяти. Они ненавидели явь и любили меня. Они просили слов, чтобы приобрести очертания и изменить всё вокруг... Но сжавшийся от страха в чёрную пульсирующую точку ум был бессилён.

— Я... я тебе сказку напишу... — с трудом сказал я.

— Пи... ши-и... — простонала Люба и, рыдая, ткнулась в мою грудь.

В первые месяцы службы я напоминал — дальневосточное сравнение — морского гребешка: раковина-скорлупка, а под ней сопливая масса, скользкая, трепетная и без каких-либо следов вдохновения и божества. Написанная на подоконнике учебной роты сказка «Туфелька и Башмак» была слезливой и бездарной. На письмо с ней Люба ответила вяло, а вскоре вообще перестала писать.

Прошло полгода, я пообвык, расслабился, у меня появились ночные вахты — время для спасительного в армии одиночества, и, самое главное, я открыл для себя батальонную библиотеку.

Две её комнаты прятались в клубе за шаткой дверцей над тремя ступеньками. Первая, вытянутая и очень светлая, была заставлена жёлтыми столами, на которых лежали толстые подшивки газет. Под плакатом, на котором был изображён азиатского вида морпех с книгообразным параллелепипедом в руках, стоял стол-конторка библиотекаря, на нём, в ожидании редкого нетребовательного читателя, валялось с десятков потрепанных детективов. Вторая, большая квадратная комната, заставленная стеллажами до библиотечной умной темноты, никем месяцами не посещалась; заходил туда иногда парторг Равикович, чтобы фикнуть со смыслом: «Фи... фиговата библиотечка... Что сказать?.. Фантастически фиговата...» Добрая глуповатая библиотечка Наталья Семёновна обижалась до слёз. «Ходит, ходит гусь партийный, — жаловалась она мне, оглядываясь на дверь. — Намёки делает, а ума нет. Стану я книжки воровать. Дуру нашёл. Кому они нужны, в Раздольном-то?»

Я сочувственно кивал, жалел Наталью Семёновну вежливыми словами, после чего мог беспрепятственно копаться в обречённо девственных книжных залежах. Что я в них только не находил! Среди одетых в зелёный коленкор сочинений Льва Толстого отыскивался серый томик с долговыми лэфовскими буквами на обложке — «Высокая болезнь» Пастернака; маленький, тоже серый томик Марины Цветаевой таился в стопке престарелых «Юностей»; бледно-голубые ряды «Новых миров» прятали диссидентчину — в них я нашёл и прочитал «Один день Ивана Денисовича». Самой удивительной находкой была, пожалуй, хрестоматия литературы начала двадцатого века с поэтами Игоря Северянина, сатирами Саша Чёрного, романом «Мелкий бес» Фёдора Сологуба и густо-красочными, как нежадный домашний борщ, повестями народных страдальцев.

Дежуря по ночам в коммутаторной, я читал книгу за книгой. Листвяные и снежные ветры били в стёкла... голова ощущалась присевшим на плечи мудрым облаком... исцарапанное зеркало показывало мне, обцифированному идиоту, мой вполне аристократический профиль, склонённый над вдыхающей бездной открытой книги. Книги сочились сквозь лениво мечтающий разум, впечатляли, питали и исчезали за мягким хлопком; одни вскоре забывались, другие бродили в памяти невнятными чувственными воспоминаниями.

Но нашлась книга, которая впечатлила так, что я, как ошпаренный, выскочил из разрешённого временностью настоящего и сказочкой вдалеке умственного безделья. Это был сборник ранних рассказов Бунина: «Антоновские яблоки», «Сосны», «Дорога», «У истока дней»... Я читал не только глазами и разумом, но и ртом, жадно хватаящим воздух, коснувшийся книги, и руками, с нервным обожанием щупающими страницы. Литературная ткань, прекрасная, лёгкая, переливающаяся от внутреннего ледяного серебра, окутала, околдовала меня.

Вонзилась в душу иллюзия из подобию солнца и льда, звуков дороги и теней плодовых деревьев, и потекла душа в торопливые выдуманное слова — я писал. Так как опыта писаний у меня, кроме школьного, не было, то и писал я нечто похожее на школьные сочинения, что не мешало мне говорить о написанном с эстетическим посвистом — эссе!

Сотворив два-три абзаца, я вскакивал, ходил по коммутаторной колеблющейся журавлиной походкой, ловил в отражении глаз драгоценное мерцание орлиного пера. Мне хотелось тут же, до боли в печени, прочесть кому-нибудь сотворённое. Единственными существами в ночном штабе, если не считать меня и одуревших от голода крыс, были дежурные по штабу. На этих-то бедолаг, соблазнённых куском хлеба с маслом (платой хлеботореза за рисуемый мной дембельский альбом), и обрушивал я свои сочинения. Дежурные жадно грызли подаренные бутерброды, крутили головами, пытаясь освободиться от мути чувственных предложений, но отзывы давали самые лестные, хоть и тупые.

Долго я не решался тревожить любимый рассказ «У истока дней», и вот морозной ночью поздней осени...

Я писал, томясь вдохновением. Тема корчилась в скользких изгибах младенческой мысли, гибла в потоке самовыражения. Буквы, извернувшись, цеплялись в слова. Слова бежали по строчкам. Фразы, как кислота, жгли плоскость бытия или получались симпатичными и неуклюжими, как отпечаток ладони на заснеженной скамейке.

«...Разгадана тайна. Исчез в пустом стекле зеркальный мирок. Навсегда умерли вещи. Пропали золотые призраки, рождённые мнимостью... Через усмешку пустого стекла на пытливого маленького мечтателя взглянула сама смерть. Не безобразная старуха с клюкой, не ярмарочный скелет, а безнадёжная пустота мироздания, в которой возникают и обманываются, живут, страдая от одиночества, и пропадают в ничто, в пустое стекло, зеркала человеческих душ. Конец? — Нет, начало! Начало иллюзии... Взгляд крадёт у реальности образы и краски, воображение создаёт из них блистательные

фантомы, сердце освещает их живительным светом, потом прикосновение уверенной в бессмертии души — и свершилась иллюзия. И царящая в глубине сознания мысль о неизбежности смерти дарит ей изящную лёгкость красок и ветреную летучесть одуванчиков. Это наш дом, мечтатель. Наш нетленный летающий дом!»

«Душно мне... душно и хорошо!.. Что-то моё родилось... моё! Где человек? Где этот чёртов дежурный?!» Не в силах терпеть безвестности, я вскочил, отбросил ручку и выбежал из коммутаторной.

Коридор не освещался. Пахло пылью и льдом. Сквозь грязное окно луна бросала на каменный пол узкую лунную дорожку.

Шаги мои замедлились сами собой. Осторожно ступая, я подошёл к входной двери, где в нише на тумбочке должен был спать дежурный по штабу.

Действительно, на тумбочке в неестественной позе восседала фигура. Чёрная форма не различалась в темноте, лишь контуры проступали во мраке. Голова лежала на плече, скулы и нос сливались в белёсую полумаску, чуть выше мерцал овал лба. Ладонь правой руки плавала внизу, у самого пола. Рядом с ладонью на лунной дорожке сидела, опираясь на хвост, большая крыса. Она держала в уродливых ручках кусок хлеба, быстро кусала его, часто вскидывая морду в направлении спящей фигуры.

Крыса увидела меня, уронила хлеб и бросилась мне под ноги... «А-ай!» — подскочил я. За долю секунды крыса домчалась до двери кабинета замполита, расплющилась в гадкую массу, проскользнула под дверь. В кабинете что-то звякнуло.

Ошеломлённый, я стоял посередине коридора, слушал металлический стрёкот и... и... «Чёрт! Меня же вызывают!» — наконец понял я и побежал в коммутаторную.

Ячейка «КПП», не переставая, стрекотала. Я схватил штеккер, ткнул — не попал, ещё ткнул...

— Тирада! — крикнул в трубку связной пароль части.

— Кто ты, тирада?! — заревела трубка басом капитана Жилина. — Кто ты, мудака?! Отвечай!

— Э-э... Мат... матрос Веточкин, — запинаясь, ответил я.

— Веточкин? — переспросил Жилин почти ласково и тут же снова оглушительно завопил: — Веточкин!! Тебе что, гад, трубку в зад засунуть?! А-а?! Отвечай!

— Не надо... Не спал я... крыса, товарищ капитан... понимаете...

— Крыса, да? — почему-то с грузинским акцентом передразнил меня Жилин. — Есть адын сраный штабной крыса — это ты, Веточкин! Ха-ха-ха!..

Блеск собственного остроумия, видимо, смягчил капитана.

— Ладно, крысёнок, воткни инженерную роту, — приказал он презрительно-благодушно.

Соединив линию, я облегчённо откинулся на стуле.

— Войти можно или нельзя? — шёпотом поинтересовались из-за двери.

Дверь приоткрылась, в образовавшуюся щель просунулась круглая, ушастая, сплошь поросшая жёлтым пушком голова Ванюши Якушкина,

матроса-водителя из базовой роты. Ванюша шмыгнул испачканным блестящей грязью носом, осмотрел коммутаторную и, не заметив опасности, придурковато улыбнулся.

— Я по штабу заступил... Чо, Серёга, войду?

— Входи, раз пришёл, садись.

— Стульчик — это клёво... Это попина радость... гы! — весело сказал Ванюша, усаживаясь на стуле. — Слышь, Серёг, а кто в штабе орал? Я даже с тумбы свалился. Может, жулики?

— Ага. Воры и убийцы. Спать меньше надо на тумбочке.

— Я чо... случай вот вышел... — почёсываясь от смущения, сказал Ванюша. — Ты не закладывай меня, Серёга.

— Зачем мне тебя закладывать? Да и кому?.. Не трусь, морпех.

— Я не трушу... Связываться просто неохота, эх, — Ванюша вздохнул, окинул взглядом стол и снова вздохнул. — Эх! Хорошо ты устроился, Серёга. На стульчике сидишь, телефоном брякаешь... эх!... вон хлеб с маслом чифанишь... вон и сахар есть. А у меня крыса, проститутка хвостатая, весь хлеб сожрала. Убью её, если поймаю, конечно...

— Угощайся, — предложил я.

— Честно?!

Ванюша взял бутерброд и, поднеся его ко рту, нежно и широко охватил губами — так крупная рыба берёт корм.

— А сахар тоже мне?

— Нахал ты, братец. Ладно, возьми пару кусков.

«До чего же хрупок мой нетленный летающий дом, — подумал я, наблюдая за жующим Ванюшей. — Один неосторожный шаг — и нет его... и кажется, что исчез навсегда... Крыса, Жилин, Ванюша... А может почитать ему? Пища пропадает, жалко. Он всё-таки человек, не крысам же читать».

— Я сочинение написал, Ванюша, хочешь, прочитаю?

— Чи... се...пф... — закивал головой «всё-таки человек».

Я хлебнул чифиря, покурил с минуту и подвинул к себе раскрытую тетрадь... «Осознание мира и себя в мире...».

Хлопок распахнувшейся двери перебил меня, я поднял глаза от тетради и застыл: на пороге коммутаторной стоял Айтиалиев Аяз, младший сержант, командир отделения связи, мой командир.

Если определить Аяза Айтиалиева одним словом, то это слово — батыр. В понимании русского человека оно означает гибрид ишака с дикой кошкой.

Вид вошедшего в коммутаторную батыра был страшен: коренастое тело напряжено и готово к бою, руки угрожающе согнуты в локтях, кулаки сжаты, скуластая голова бодливо наклонена вперёд.

— Обурели! — удовлетворённо и зло сказал он и схватил Ванюшу за шиворот. — Сидишь? Почему сидишь?!

— Я... мне... Серёга...

— Пошёл вон!

Ванюша исчез в ту же секунду.

— Ты что делаешь? — спросил Айтиалиев, приближаясь ко мне.

Он увидел на столе исписанную тетрадь и удивлённо поморщился.

— Пышешь?

Говоря по-русски в сравнении с прочими инородцами чисто и правильно, Айтиалиев, как истинный «кыргыз», заменял в некоторых словах писклявую «и» ударным батырским «ы», звучащим, как выстрел из ружья аксакала.

— Пишу, Аяз, извини, — сказал я, — когда свободная минутка выпадает...

— Свободная минутка дома у мамы выпадает, — резонно возразил Айтиалиев и с интересом спросил: — Почему пышешь?

— Не знаю, Аяз... просто так. Прочитал книжку, захотелось мысли разные записать.

— Про книжку?.. — Айтиалиев передёрнул плечами. — Дурак. Пыши сам книжку. Ты пысал, все читают — значит, ты самый умный...

В это мгновение идея озарила туманное сознание батыра. Он вытаращил глаза и закричал:

— Веточка! Про меня! Рассказ! Называется «Командыр»! Красивый, как дембель, сейчас пыши!

— Но, Аяз, не умею я писать рассказы, не могу...

— Обурел?! — над моей головой взметнулся и завис очень тяжёлый эбонитовый телефон. — С кем говоришь?!

— Хорошо, хорошо, — презирая себя за малодушие, согласился я. — Про что писать, Аяз? Подскажи.

Айтиалиев хмыкнул и поставил телефон на стол.

— Пыши про бабку, как я её от хулиганов спас. Комбат на разводе сказал... значок обещал — «Отличник ВМФ». Не дал — ышак. Помнишь, Веточка?

Ещё бы не помнить!.. Замкомандира учебной роты Айтиалиев рассказывал нам эту поучительную и занимательную историю и перед строем, и перед сном, и во время послеобеденного отдыха, и на работах по разгрузке мороженой рыбы... Навсегда запомнились мне и пьяный капитан Жилин, «усы в говне», и хулиган, «волосатый хып», с кухонным ножом в кармане, и ограбленная хулиганом на рубль пьяная старушка, которая кричала, как «маленький баран».

— Так писать, Аяз, как ты рассказывал? — с затаённым ехидством спросил я.

— Ты, Веточка, пыши красиво, — Айтиалиев погрозил пальцем. — Что Жилин и бабка пьяные — не надо. Пыши, что я против хулигана каратэ применил, что комбат мне «Отличника ВМФ» дал... Про Замирку, девушку мою, напыши, что я о ней скучал... На!

На стол, смяв тетрадь и придавив книгу Бунина, упал обтянутый фиолетовым бархатом дембельский альбом, с полпуда весом.

— Завтра проверю. Рамку вокруг рисуй из якорей и цепей.

— Не успею, Аяз...

— Старайся! Не сделаешь — вешайся, — Айтиалиев грохнул по жестяной крышке коммутатора и вышел за дверь.

Альбом распахнулся передо мной, как пасть бегемота. Толстые розовые страницы закрыли всю плоскость стола. Над страницами трепетала от

сквозняка трупного цвета калька, на которой чернели старательно и бездарно переведённые тушью рисунки кораблей: от ботика Петра I до авианосца «Минск». В уголках страниц той же тушью были нацарапаны кривобокие каратисты, бьющие пухлой розовой пяткой в направлении читателя, якорные цепи, извивающиеся змеями, беременными во многих местах, пузатые молодцы в шароварах с ятаганами наголо, акулы с саблезубыми челюстями и прочая жуть. И фотографии, фотографии, фотографии...

На главной (широкоформатной, вырезанной овалом) прилизанный, но мрачный Айталиев старался выпятить одновременно берет морской пехоты, полный набор достойных значков, аксельбанты толщиной с причальный канат и погоны старшего сержанта, широкие и жёсткие, как крылья самолёта. Фотография была подписана: «Ах! Эти парни в чёрных беретах — пантеры моря!» Под надписью — рисунок: нечто пантерообразное скачет на фоне мотыгоякоря. На следующей фотографии доармейский Аяз в киргизской шапке верхом на лохматом коне; молодой Аяз принимает присягу, Аяз на учениях, Аяз в маскхалате, Аяз в наушниках, Аяз стреляет из автомата, Аяз лихо подтягивается на турнике, Аяз с аппетитом ест кашу, Аяз пьёт чай и счастливо улыбается... Аяз... Аяз... Ах! Аяз...

Кроме Айталиева во всех видах (приличных, разумеется) в альбоме хватило места для фотографий всяких-разных матросов, исключительно толстых прапорщиков, окаменевших деревенских девиц и разгулявшихся пэтэушников. Была там и пропавшая из моей тумбочки фотография, на которой я, страдающий волосатик-новобранец, обречённо пялился в объектив, зажатый с обеих сторон фотогеничными родителями.

— Ну, батыр... Ну, идолище! — закричал я. — Фотку украл, единственную, а я ему «пыши»! Не буду!

Посидев с гордо сложенными на груди руками минут пять, я решил, что писать всё-таки надо, не то изведёт меня Айталиев, измучает уставными придирами. Я заварил кружку свежего чая и принялся за рассказ.

Сочинительское настроение захватило меня. Весело вихляя задом, побежала ручка по альбомному бездорожью. Образы мелькали перед глазами и лезли в словесные одежды.

Командир!

Солнечным весенним днём по главной и единственной улице деревни Раздольное шёл Айталиев Аяз, старший сержант, красивый киргизский парень. Форменная одежда — от ловко намотанных портянок до чёрного берета с острым красным флажком на боку — сидела на Аязе как влитая. Солнце яичным желтком плавало в начищенных сапогах.

Мимо серых параллелепипедов двухэтажных зданий, мимо приземистых домиков, окружённых тощей растительностью, мимо бедного видом и существом магазина «Продукты» шёл Айталиев Аяз. Грозно смотрели вперёд огненные раскосые глаза, над которыми взмахнула крыльями гордая птица бровей.

— Како-ой!.. Глянь, Ленка, како-ой! — воскликнула симпатичная местная девушка, показывая подруге на Аяза.

— Привет тебе, орёл! — восхищенно приветствовал Аяза подвыпивший мужичок.

Но не видел, не слышал никого блистательный старший сержант. Грозный взгляд его глаз прятал нежнейшие, сладостные мечты... Виделась Аязу его возлюбленная, прекрасная Замира, присевшая на подоконник распахнутого окна. За окном весенняя киргизская ночь, молодой вечер-щенок играет в небе. Смотрит Замира на звёзды, шепчет в ночь с любовью и тревогой: «Аяз!.. Ах! Аяз...»

— Почему вы не приветствуете меня, товарищ старший сержант? — услышал Аяз густой мужественный голос и, очнувшись, увидел перед собой усатое лицо капитана Жилина, командира его, Аяза, роты.

— Прошу извинить меня, товарищ капитан. Задумался, — отдав честь, виновато, но твёрдо сказал Аяз.

— Непорядок, — строго произнёс капитан Жилин, потом, подумав, добавил: — Принимая во внимание вашу безупречную службу, извиняю, однако впредь будьте бдительны.

— Есть быть бдительным!

Точно по уставу, даже немножечко лучше, отдал честь любимому командиру блистательный старший сержант. Суровое лицо капитана подобрело.

— О доме задумался, Аяз? — отечески спросил пожилой капитан.

— О доме, товарищ капитан... о любимой девушке Замире, — честно признался Аяз.

— Добре... — капитан Жилин кивнул головой и ушёл прочь.

Оставшуюся дорогу по главной и единственной командир чеканил шаг и бдительно всматривался в лица прохожих.

Наконец деревня кончилась. Пройдя мимо краснеющего на окраине матросского клуба, Аяз свернул на тропинку и через несколько минут оказался в берёзовой роще. Берёзы шумели певуче. Капли мутного сока блестятели на белых стволах. Солнечные лучи текли сквозь сплетение ветвей и рисовали на земле причудливые узоры. Аяз присел на ствол поваленного бурей дерева и освободил мечту.

Перед ним в синем горном озере купается Замира. Жаркое азиатское солнце. Небо без дна и берегов. Снежные шапки гор. Брызги воды, сверкающие алмазами, и обнажённая девушка, его девушка — Замира... с фигурой Флоры, золотистой кожей и разметавшимися волосами... морем иссиня-чёрных волос... Эгей! Выскочил на гору вороной жеребец и замер над обрывом. На жеребце, сжимая его вздымающиеся бока ногами, обутыми в алые сапоги, сидит он, Айтиалиев Аяз, в форме морской пехоты, со значками и аксельбантами на груди, только сапоги не по форме и шапка, как у батыра, обрамлена шерстяным заревом лисьего хвоста.

— Я вернулся, Замира! — кричит Аяз батырским голосом.

— Ах! Аяз! — восклицает Замира и бежит к любимому, забыв про свою наготу.

Ва-а... Аяз задыхается от восторга. О, Аллах! Как обильна и чиста, соблазнительна и божественна красота этой девушки! Даже вороной жеребец понимает и ржёт тихонько, жалобно, как жеребёнок-сосунок.

— Замира... Ты жена моя, Замира, — шепчет Аяз, и слепнут счастливые глаза от счастливых слёз.

Туманилась, волновалась чувством картина мечты. Вздыхал в томлении Аяз. Кутал растревоженную душу в шум берёзовой рощи. А над головой у Аяза неслись пухлые белые облака; стада гусей с криками возвращались в северные болота; летели журавлиные клинья...

— Ну-ка стой, карга! — услышал Аяз пропитой голос.

— Что тебе, милый? — испуганно спросил другой, старческий.

Аяз определил, что голоса доносятся из-за кустарника на краю поляны.

— «Что те-бе-е, ми-илай», — омерзительно передразнил пропитой голос. — Деньги давай!

— Какие деньги? Какие деньги, милый! Последний грошик на хлебушек потратила...

— Врёшь, карга! Сам видел, как червончик в кошель совала. Давай быстреей деньги, не то порежу на мясо.

— Господи!.. Что же это делается на белом свете?! — запричитала старушка.

И вскочил с бревна Айтиалиев Аяз, старший сержант, красивый киргизский парень. Сжал нежные чувства железной командирской волей, резким движением рук подтянул форменный ремень...

— Почему старушку обижаешь? — мгновение спустя требовал он ответа у небритого волосатого детины в ватнике.

— Зарежу! — заревел детина, размахивая финским ножом.

— Убивают! — пронзительно закричала старушка.

— Ха! — отработанным приёмом каратэ выбил Аяз нож из рук детины.

— Я-а! — стальная ладонь командира рассекла воздух и ударила по щетинистой шее.

Детина рухнул на землю.

— Спасите... — попросил он тоненьким голоском.

— С вами всё в порядке, бабушка? — спросил Аяз, обняв старушку за хилые плечи.

— Милай... милай... — лепетала старушка, утирая глаза платочком. — Господи!.. Спасибо тебе, милай... Какой ты хороший, хоть и не русский. Дай тебе Бог девушку, тоже хорошую.

— У меня есть девушка, — улыбнулся старушке Аяз. — Её, бабушка, Замира зовут. Она ждёт меня дома, в Киргизии.

— Слава Аллаху вашему! — сказала старушка, перекрестилась и снова заплакала — на этот раз от умиления...

Раннее утро. Правильные ряды построенных на развод рот. Над рядами поднимается пар матросских дыханий.

— Товарищи офицеры и прапорщики, матросы и сержанты! Нет! Не скудна героями обширная наша земля!..

Перед строем стоит небольшого роста значительнейший человек — подполковник Иванов. Он говорит проникновенным командирским голосом. Торжественно звучат в тишине добрые слова.

— Вчера старший сержант Айтиалиев совершил героический поступок, товарищи! Обезвредив злого хулигана приемами каратэ, он спас от насилия и унижения старушку и помог работе милиции. Командование части в моём лице награждает вас, бесстрашный сержант, полным набором достойных значков. Как сказал, так и будет! А красноречивый майор Макарич напишет благодарственное письмо вашим родителям — пусть порадуются старики подвигу сына. Спасибо тебе, отчаянный киргизский парень! Ура! Ура! товарищи!

— Ура-а! Ура-а-а! — кричат роты.

Закрывает глаза смущенный Аяз, и видится ему, как краснеет от гордости мать, читая письмо майора Макарича, а рядом Замира шепчет с любовью: «Аяз!.. Ах!.. Аяз...»

Конец.

Когда я закончил рассказ, ночь уже белела приближающимся утром. Она больше не растворяла в синеве видимость оконных стёкол, а, напротив, выделяла их прощальной непроницаемой темнотой. Слышно было, как усилившийся ветер ломал с хрустом тонкие ветки липы. «Аяз!.. Ах! Аяз!.. ах... ах...» — шаркая слогам, бежала по сознанию надоевшая фраза. Я охватил рукой айтиалиевский альбом и положил голову на бархат обложки...

— Сказку... напишу... слышишь?..

— Пиши-и, — стонет, рыдая, девушка Люба.

— Воробей в пальто, а слёз-то... — язвит мамаша, похожая на воздушного медведя из-за сумерек и одетой не по сезону шубы.

— Хо-хо-хо!.. — хохочет мамаша подружка с беломориной в зубах.

Серые исподни домов холодят сердце, шум невидимых улиц и бесчинство теней угнетают меня.

— Призывники! Шустро строимся! — командует в стельку пьяный военкомовский капитан.

— Веточкин! Веточкин!..

— Есть! — кричу я и открываю глаза...

Весна. Солнечный день. На середине главной и единственной улицы стою я, маленький, как гвоздь. Гигантские деревья трясут чудовищными ветвями. Дома пугают несообразными величинами.

Что? Что это? Гром? Война? Интервенты?.. Нет! Это идёт, стуча начищенными сапогами, великан Аяз. Идёт прямо на меня.

«Раздавит, раздавит подлый азиат...» — с ужасом думаю я, пытаюсь бежать, но ноги вросли в асфальт — непутёвые.

— Я тебе рассказ, а ты... ты... Дави!.. Дави, сволочь! — кричу я и рву на груди тельняшку. — А-а-а...

Накрыл меня айталиевский сапог и, странное дело, не раздавил в кровавую лепёшку, не расплющил в трагический блин, а, вобрав в себя, оторвал от земли. И поехал я вверх, плавно, без толчков и скрежета, словно в комфортабельном лифте. Долго ехал в полной темноте, потом увидел свет и вскоре упал на пол вместительного помещения. Пол мокрый, липкий и горячий, как в общественной столовой после уборки. Поднимаюсь на ноги, осматриваюсь... свет падает из двух окон овальной формы... Само помещение совершенно круглое... В центре его парит густое серо-синее облако, там купается изобильная телом азиатская дева... плещется с наслаждением в облачной жиже и приговаривает вполголоса: «Аяз!.. Ах! Аяз...» «Ясно, — догадываюсь я, — это Замира, а помещение — башка Айталиева...» Не успел додумать — стоит передо мной вороной жеребец, пялит на меня глупый глаз и ржёт:

— И-иго-го!.. Чо, Серёг? Садись давай! Конь — это попина радость!

Заскакиваю на коня, подгарцовываю к облаку.

— Эгей! Замира! — кричу, потя от сексуальной истомы. — Услышь меня, Замира! Забудь придурка Айталиева... Я сочинитель, Замира! Едь со мной в мой нетленный летающий дом!

Не слышит Замира, моет в айталиевских мозгах сочные груди, талдычит своё: «Аяз!.. Ах! Аяз!..»

— Ха-ха! Воробей на лошади! Ха-ха-ха!.. — хохочет и порхает мамаша в шубе — воздушный медведь.

Кривые зеркала, отражая, уродуют мой облик, насмеваются надо мной царапинами пустых стёкол.

— Плюнь ты на них, Серёга. Летим отсед.

Оглядываюсь — за моей спиной голый плюгавый мужичонка. Лицо ко-соглазое, глумливое, вроде знакомое. Кожа прозрачная, влажная, с зеленоватым отливом. Пахнет от мужика холодным подгнившим урюком.

— Чо зыришь? — спрашивает он с издёвкой. — Джин я, джин. Летим, говорю, отсед; другую фигню сочинять будем.

Мы летим, обнявшись, в светлые окна-глаза. Я вижу небо, солнце... вижу далёкую линию гор... слышу металлический стрёкот... почему... по...

Проснулся я от сильного удара в плечо. Передо мной, опираясь на коммутатор, стоял Айталиев... стоял и пах холодным подгнившим урюком.

— Сохнешь? — тоном презрительного утверждения сказал он. — КПП ответь, ну!

Плохо соображая после сна, я ткнул штеккером в стрекочущую ячейку — не попал... ещё ткнул...

— Тирада... кхе-кхе...

В ответ — удаляющееся «пи-пи-пи...» и едва различимый шорох эфира.

— Никого, Аяз, — сказал я, — извини... Целую ночь над рассказом работал и вот...

— Покажи, — приказал Айталиев.

— Тяжёлый он у тебя, Аяз... хи-хи, — заискивающе похихикал я, подлый трус, подавая альбом.

Айтиалиев молча открыл его и начал чтение. После первых прочитанных строк лицо батыра подобрело, жёсткая линия губ выгнулась в самовольную усмешку. «Нравится... Слава Аллаху... ох-ох-хо...» — вздохнул я, закрывая слезящиеся от недосыпа глаза. Дремота бесшумно плескалась о веки разноцветной влагой...

— Гад! — страшно закричал батыр.

Веки мои мгновенно распахнулись.

— Гад! — повторил батыр, пожирая меня глазами.

— Что случилось, Аяз? — с упреждающей расправу быстротой спросил я.

— Ты видел? Да?! Она твоя девушка? Да?! Почему Замирку голой пысал?!

Он так и сказал — «пысал». Бесстыдный киргиз!

— Но Аяз... я же художественно пи... пысал... Ха-ха-ха!.. — я истерически расхохотался и не перестал хохотать, когда вместе со стулом свалился на пол от тренированного удара в челюсть.

Пасмурным осенним утром по военному городку в/ч 40159, прихрамывая, шёл я, Сергей Веточкин, побитый «карась» морской пехоты, озадаченный сочинитель.

Этой ночью у меня в сознании отделился вместительный угол, куда поселились сумеречные люди памяти, где суетились зародыши мыслей и петляли, похожие на высушенных насекомых, следы ненаписанных фраз. Углом правил джин, который мучил и вдохновлял меня, а потом, во сне, явился голым. Джин обладал наглой жизненной силой; едва проникнув в сознание, он стал ругаться и угрожать, требуя расширения владений.

— Знаешь, братец, как я тебя назову? — мысленно спросил я его и потрогал синяк под глазом. — Я назову тебя — Командыр!..

И усмехнулся в воображаемое лицо удивлённо замёрзшего куста.

САНЧАСТЬ

Летом за окном коммутаторной жила густолистая, шумливая липа. По ночам она шумела с ветрами и дышала в форточку свежей растительной жизнью. Её дыхание окутывало меня, и вахтенное дежурство превращалось в дурашливый лёгкий кайф.

Книжные страницы становились объёмными — в них можно было опускать руки; буквы, волшебные червячки, извивались, сплетались, таяли образами; мечты представляли то на шкафу, то на потолке соблазнительные картинки. Ломоть белого хлеба с маслом был наслаждением духовным, а телефон, загогулина, разговаривал тихо, ласково, голосом телефонистки Верочки из посёлка Надеждинское... Утром, после вахты, я, счастливый и довольный, бежал в столовую завтракать, оглядываясь на липу, и она махала мне на прощание тяжёлой веткой — гуляй, дескать, милый.

В столовой недавно назначенный на сытую должность сервировщик Симбаев проявлял усердие: со скрежетом открывал железный шкаф, выкра-

шенный казённой синью, долго копался в его дребезжащих внутренностях и, наконец, доставал и ставил передо мной красную миску с матросской мечтой: двумя сваренными вкрутую яйцами и толстым белым бутербродом.

— Рота приходит — Симбаев чифанить. Веточка приходит — Симбаев чифанить. Нет, Симбаев не человек... чмо, давалка Симбаев, — ворчал серверщик, глядя, как я поедаю сохранённую им мечту.

Эстет Акутагава издевался над зрителем, жуящим каштаны во время театрального представления, я же относился и отношусь к этому зрителю с пониманием, потому что сам, завтракая, кутал в успокоенную сытую плоть маленькое чудо сбывшейся вахты, и чуду было удобно.

После завтрака я не спеша шёл в казарму, забирался с головой под одеяло и, послушав немного, как старший прапорщик Панюков распекает неразумных, крепко засыпал...

Последняя зима армейской жизни разорила меня подчистую.

Ни днём, ни ночью не стихали дикие метели. Стоило выйти из казармы — и нет человека: разум от ужаса каплей ртути прыгал из головы в живот, где мерк, прижавшись к тёплому желудку (в вопиющей пустоте черепа пульсировало алым: «Кальт! Кальт! Кальт!..»).

Вахта, кайфоловная ночная вахта обернулась кошмариком. Почти каждую ночь гас электрический свет, и горел на вахтенном столе грязно-жёлтый огонёк керосинки, ежеминутно выплёвывавший клоч вонючего дыма. Чифирь, сумасшедший дружок, не годился уже ни на что: от него тоска становилась вещественней и гаже. За окном липа стучала ветками, словно костями, и выла бездомная собака.

Рожа дежурного по штабу Харлашкина была похожа на мороженный корнеплод: бугристая, влажная, с выражением подземнорастительным.

— Харлашкин, что ты всё молчишь? Расскажи что-нибудь.

— А чо сказать? Пожрать бы... Давай собаку съедим?!

Общаться с Харлашкиным — ставить крест на вере в человечество, прогнать — обречь на смерть в штабном коридоре, где свисают с потолка килограммовые сосульки.

Я отказывался от вахты, оставался в казарме и, укрывшись двумя одеялами, тонул в лужице короткого сна. А утром являлся капитан Адров.

— Ты чего сидишь, товарищ вонючий матрос?! — орал он, распахнув дверь коммутаторной. — Чего?.. Встать! Встать, сволочь триперная!.. Чего? Не триперный? Будешь, скоро будешь. Ха-ха!.. Молчать! После развода канаву роешь... Чего? Лопаты у тебя нет?.. Жопой роешь, козёл! Жопой!

Пухлый, в рыжих волосах кулак вертелся у меня перед лицом. Душа моя разъярённой кошкой царапала сердце. Скотина!

В конце зимы я понял, что если не зашкерюсь, то не дослужу — свихнусь.

Шкера — это самое замечательное словцо армейского лексикона, обозначающее место, где ты, защищённый правом, бездельничаешь тихонько, наблюдая со стороны за «тяготами и лишениями воинской службы». Самой доступной для меня шкерой была санчасть, благо её хозяин, окультуренный бурят доктор Ильин, с которым у меня случались недоразумения,

уехал в командировку, и санчастью правила добродушная фельдшерница Аллочка Пахно. Я как ленинградец, связывающий два слова смыслом и раз в неделю стирающий форму, мог вполне рассчитывать на Аллочкино снисхождение; к тому же многие в части знали, что зам по тылу капитан Пахно ненавидит капитана Адрова всеми силами вороватой, но могучей хохляцкой природы.

Санчасть, санчасть... Мечта униженных первогодков, шкера для необоротистых дембелей, унылый приют для тоскующих по полёту. Она делила с клубом одноэтажное, напоминающее бункер здание на плоской вершухе сопки. С украшенной плакатами площадки перед зданием и казармы, и штаб, и плац, и стадион, и горбатое строение, столовая, казались симпатично ненастоящими, а за дырявым забором, за деревенскими домиками и берёзовыми рощами текла в болотах жёлтая речка Суйфунь. Летом, когда я возвращался с развода, зажатый с обеих сторон спотыкающимися товарищами, на фоне восходящего солнца, задрав к нему опухшие от чилимы ноги, парили вместе с санчастью батальонные калеки. «Вот они, счастливые гады, — думал я. — Посмотришь на них вблизи — противно, а тут — вах! — парят таракашки».

Итак, я взбежал на сопку, надсадно кашлянул раза три и с силой дёрнул оледенелую дверь.

— Ой! Ну, кто ещё там? Господи!.. Ну, дверь, дверь закройте! Холодно!.. — крикнула Аллочка.

Ослеплённый клубами пара, я нащупал ручку и закрыл дверь. «Они и зимой парят, надо же...»

В коридорчике дневального, богатом широченной батареей, собралось всё население санчасти. Моё появление прервало полуинтимный разговор (от нечего делать — по душам); в случившейся паузе я с интересом рассматривал обитателей — они без интереса, с раздражением смотрели на меня.

Ближе всех ко мне стоял длинный, кривой и большеголовый эпилептик Егор, за ним сидел на корточках лопухий, нескладный, засаленный до мерцания литовец Куленис; на батарее расположились два санинструктора: старослужащий Сокол, остроносый, быстроглазый блондин, легендарный выпивоха и бабник, и малослужащий Клизьма, шустренький, вечно сопливый паренёк; тумбочка скрипела под тушей весёлого алкоголика Лазаря, из-за тумбочки выглядывала горбоносая и косоглазая мордочка Володьки Фишиневича, по прозвищу Фишка. Центром собрания, его повелительницей и сладостью была, конечно же, Аллочка Пахно. Пухлая, розовая, светящаяся от чистоты и сытости, она, как яблоко на блюде, сидела на единственном стуле, милостиво принимая матросское обожание.

Но нет, не Аллочка поразила меня — я не мог оторвать взгляда от белых с золотинками шерстяных носков Сокола. Какие это были носки! Даже на лапах Сокола они выглядели изящно. Белоснежные, пушистые, из мягкой и жаркой шерсти, они легонько болтались в воздухе... раз, два, три... раз, два... Да, будь у меня такие носки, плевал бы я на лютый февраль, на бездомный дрыг железных полов, мало того, я мог бы презрительно терпеть и капитана Адрова!

— Веточкин... а-а... заболел, что ли? — зевнув, спросила Аллочка. — Надеюсь, не грибок?

— Нет, Алла Борисовна, не грибок. Тут дело посерьёзней, — сказал я.

— Ну-у, ты меня пугаешь, — равнодушно сказала Аллочка и встала со стула. — Ох, ладно, ленинградец, проходи в смотровую, буду тебя осматривать.

Смотровой кабинет напоминал покойницкую. Чувство холода делалось невыносимым из-за блеска стеклянных шкафов и никелированных инструментов. На бледно-розовую клеёнку топчана я не лёг бы под страхом расстрела. Кутаясь в меховую безрукавку, Аллочка села за стол врача, взяла из стакана с подозрительно жёлтой водой палочку для осмотра горла.

— Ну, рассказывай, горюшко, что ужасное с тобой приключилось.

— Видите ли... вот... понимаете... — начал, запинаясь.

— Ой! Да говори ты. Я не кусаюсь, — нетерпеливо, но без кокетства перебила меня Аллочка.

— Алла Борисовна! — я решился быть откровенным и старался говорить твёрдо, но с мягкостью (мягкостью) доверительного подхалимажа. — Положение моё в последнее время стало безвыходным и совершенно безнадежным. Я не преувеличиваю. С тех пор, как появился в нашей части этот звероящер, этот, извините за выражение, свинячий капитан Адров, я живу, как последнее чмо... У меня болит душа, Алла Борисовна! С утра до вечера этот недорезанный боров орёт на меня, ругается матом, посылает долбить канавы в мёрзлой земле. Кому они нужны, канавы?! Если вы, Алла Борисовна, не укроете меня на недельку в санчасти...

— Что-о? Так ты не болен? — удивлённо спросила Аллочка.

Я зажмурился... «Хана... не зашкерит, а если ещё Адрову пожалуется... Мамочка!»

— На недельку, говоришь?

— Пусть меньше, только бы... понимаете...

— У тебя фолликулярная ангина, — сказала Аллочка и стукнула по столу палочкой для осмотра горла.

«Ура! Да здравствует боевая подруга капитана Пахно, чудо-женщина Аллочка!»

— Ваш Адров — противный дурак, и мой Пахно его ненавидит, так бы и прибил. Как ты сказал? Свинячий капитан, хи-хи... — хихикая, Аллочка написала мне направление на госпитализацию. — Возьми, отдашь Панюкову. И захвати одеяло — у нас ужас как холодно. Свинячий, хи-хи...

Я выскочил, вылетел, выпорхнул резвой бабочкой из смотрового, толкнув дверью подслушивавшего Сокола.

— Ой, ты... ты чо... Чо, к нам ложишься? — Сокол от смущения погладил меня по руке. — Клёво, Веточка, клёво. Настоящего мужика кладут, не салягу. У Кулениса перевод есть — гуляем! За бухлом Клизьма сбегает — спец.

— Я чо?.. Меня не словят, — пропищал с батареи довольный Клизьма.

— Погуляем! Топ-та! — Сокол притопнул ножками, на которых...

«Какие у гада носки, — думал я, скользя по ледовой дорожке. — Не носки, а конфетка с начинкой... Что конфетка? Облака на ногах... Нет! Ноги в облаках — так лучше!»

«Санчасть, санчасть! Не боимся мы метели! Не боимся капиташки! Не боимся никого! — восторженно и противно вопил мой прочифиренный мозг (разум, несмотря на метель, оставался в голове). — Прощай, керосиновая вахта! Прощайте, мёртвая липа и ненужная машина связи! Пусть ненадолго, но всё равно — прощайте!..»

— Серошка, ты офигел?

Запрощавшись, я столкнулся около казармы со своим замечательным армейским дружкой, Фредом Арапитяном.

— Глаза вахта забыл, чумичка? — иронично поинтересовался Фредик и предложил: — Пойдём курилка, курим чутка.

В курилке он угостил меня дорогими в то время сигаретами «Космос», бывшими из-за дороговизны маркой азиатского достоинства.

— Зёма тры пачка дарил. Приехал командировка... Хороший армян.

— Раз армян, два армян, трипитян, Арапитян, — попытался сосчитать я.

— Армян... я армян! — Фредик произносил слово «армян» воинственно и с любовью: «ар» — чеканно-патетически, «мян» — нежно позванивая мягким знаком. — А ты, хрен знает, какой национальность. Бабушка — еврей, папа — русский, мама — немец, какой национальность тебя — непонятно! Ха-ха!.. — Фредик расхохотался от души: космополитизм моего происхождения давно и сильно его забавлял.

— Слышь, Фред... Перестань ты ржать! Я в санчасть ложусь.

— Ага, зашкерился, значит.

— Зашкерился... Ну, будь здоров, армян.

У тумбочки дневального в спальном помещении стоял Чурышкин, низколобый, бровастый коротыш, тайный потомок неандертальцев.

— Чурышкин, где Панюков?

— Где, где... у козла на евоной бороде... В каптёрке сидит, где ещё? Спра-ашивает...

Каптёркой на армейском жаргоне называется кладовая. Каптёрок два вида: в первой, главной каптёрке, хранятся парадно-выходная одежда, обувь, бельё и отдыхает старшина, во второй — верхняя и старая одежда. Почему каптёрка?.. Не знаю. Возможно, потому, что в воображении простых матросов бездельники кладовщики коптят духом праздности небо, или потому, что всегда мясистые кладовщики похожи на колбасы, развешенные в коптильне.

Я постучал в добротную, аккуратно покрытую лаком дверь.

— Войдите, — прозвучало из-за двери (солидностью произношения старший прапорщик Панюков затмил бы генералиссимуса).

— Проходи, Веточкин, садись... доложи, что называется, обстановку.

Я подал выписанное Аллочкой направление. Панюков принял его, широким движением надел очки в круглой оправе и приступил к изучению текста.

— Фолликулярная ангина, — прочитал он вслух, затем внимательно посмотрел на меня сквозь очки. — Звучит впечатляюще... И что же у тебя болит?

— Это... горло болит, товарищ старший прапорщик.

— Горло — это понятно... Что ж, болеть — не работать, болеть — дело хорошее... Лежишь целый день в кровати, только кушать встаёшь, читаешь интересные книжки, а служба, что называется, идёт мимо. Правильно я мыслю, Веточкин?

— Я... э-э... — что можно ответить на такой вопрос?!

— Подъём. Кругом марш! — прервал моё замешательство Панюков. — Отправляйся в санчасть. Доложи начальнику штаба... Хм! Всё.

«Доложи, как же, — думал я, стаскивая с кровати одеяло, — уже воспарил почти и... и больной я или не больной?! У меня температура под сорок, голова кружится, ни встать, ни сесть, ни рукой пошевелить... Не буду докладывать!»

— Серёга, ты в санчасть зашкерился? — спросил зашедший в спальное помещение Сашка Ударцев. — Мне Фредик сказал. Повезло.

— Уметь надо... Стоп! — я сообразил, как избавиться от унижительного доклада (я как-никак был командиром отделения связи, а Ударцев моим подчинённым). — Саша, беги сейчас в штаб и доложи начальнику, что Веточкин внезапно заболел, был срочно госпитализирован, в настоящий момент задыхается от повышенной температуры под присмотром фельдшера Пахно. Понял?

— Понял, как же... на смерть посылаешь, командир.

— Доложи, доложи, — я уже сбегал по лестнице, зажав под мышкой одеяло и книги.

«Старый пруд. Прыгнула лягушка. Плеск воды». Великие стихи. Прочитав их, понимаешь, как доступно прекрасное и как беззащитно оно от любой подлой малости... Но я сочувствую лягушке. Высохла, измаялась, бедолага, — прыг! — плеск! — и поплыла.

В коридорчике дневального было тихо. Пахло зелёной, лежалой ватой и чёрным хлебом. По недавно вымытому полу тянулись мокрые полосы. Слабая лампочка под потолком освещала коридорчик мутноватым светом; скобариха-батарея нехотя делилась теплом.

Стены и дверь в смотровой кабинет украшали плакаты. На дверном плакате было намалёвано ядовито-жёлтое лениновидное пятно с контурами кепки, монгольской скулы, бородки пирожком и поднятого вверх большого пальца; под пятном было написано: «Воин! Будь бдителен!! В. И. Ленин». Плакаты на стенах рассказывали о всевозможных паразитах. Старательно, даже любовно нарисованные паразиты смотрели на меня по-разному: увалень бычий цепень вполне доброжелательно, компактные гнидки довольно иронично, взгляд многоногого капитана Адрова — жирной бельевой вши — ничего хорошего не сулил.

Рядом с тумбочкой, сидя на полу, спал Володька Фишиневиц. Его худые ноги разметались по полу, из драных носков торчали чёрные шарики пяток, руки, тоже худые и маленькие, лежали ладонями вверх, голова упала на плечо, вывернув усердной запятой кадыкастую шею. Выпуклые Фишкины гла-

за не закрывали до конца веки — Фишка смотрел на меня из сна, так холодно и странно смотрел, что мне стало не по себе.

— Володька, — позвал я.

Не успел я закрыть рта, как Фишка уже стоял на широко расставленных дрожащих ногах. Одной рукой он прижимал к уху трубку полевого телефона, другой, с ветошью, судорожно тёр крышку тумбочки.

— Алё! Вас слушает матрос Фишиневич! Дневальный по санчасти матрос Фишиневич! — не открывая глаз, кричал он в трубку. — Алё! Алё!.. Слушаю вас!.. Не ра-зо-брать!..

Фишка открыл глаза и удивлённо вытаращил их на меня.

— Серёжа... Здравсьте... Вот позвонили и не желают отвечать. А это не ты позвонил?

— Куда позвонил?

— Сюда, в санчасть.

— Как же... Ну, Володька, ты даёшь! Как я мог звонить, если вот он, я, перед тобой стою?

— Действительно, — Фишкино лицо сморщила, притянула к себе улыбка от уха до уха. — Невероятно получилось, смешно... Мне сначала снилось, что вернулся из командировки доктор Ильин, поймал меня спящим на тумбочке и заставляет: «Пей пурген! Пей пурген!» Я пью, пью... Вдруг телефон как зазвонит! Хи-хи... — Фишка хихикнул, тряхнул головой — лицо его преобразилось: теперь оно выражало готовность к светской беседе. — Алла Борисовна сказала нам, что ты заболел ангиной. Это очень приятно... То есть не то приятно, что ты заболел, — это не так, но в санчасти будет с кем поговорить.

— Мг... будет, — пробурчал я. Разговаривать с Фишиневичем мне совсем не хотелось.

— Я буквально задыхаюсь без общения. Иначе нельзя, — с жадностью заговорившего немного тараторил Фишка. — У нас всегда скучно. Сокол и Клизьма почти каждый день возят больных во Владивосток. Алла Борисовна — женщина очень, очень симпатичная — бывает здесь редко. Лазарь и Егор спят всегда или уходят на свинарник к Рагимову. Да и, это между нами, Серёжа, о чём можно с ними говорить — примитивные люди... ох-ох, — изобразив на лице благородную грусть, Фишиневич вытер нос грязной ветошью. — Мне больше всего нравится, когда больных нет: Сокол и Клизьма не уезжают...

Скрип открываемой двери заставил Фишку настороженно умолкнуть. Куленис, шатаясь, вышел из изолятора, одарил меня взглядом мученика и поплёлся в туалет.

— Правда, когда Сокол и Клизьма уезжают, можно их порции кушать, а это очень, очень приятно, — скороговоркой продолжил Фишка.

— Всё, Володя. Помолчи, — сказал я. — Не приставай, пожалуйста, дай осмотреться.

— Хорошо, — резкий голосок атаковал меня уже со спины, — я не могу с тобой пойти. Я у тумбочки должен. Дневально, пока Сокол собаку не съест.

— Какую ещё...

— Бездомную собаку, изжаренную на костре. Да! — в прищуренных Фишкиных глазах блеснули жиринки пикантной сплетни. — Свиляр Ражимов приманил собаку, потом убил её, потом изжарил на костре и позвал Сокола с Егором кушать. Лазарь тоже пошёл кушать, говорит — мясо свежее.

— Тфу! Гадость! Да заткнёшься ты или...

Почувствовав угрозу, Фишка моментально пропал, словно растворился в воздухе.

В санчасти стало тихо. Уютно потрескивали сохнувшие полы, из-за стен доносился едва слышный вой метели. Плакатные паразиты снова ожили и посмотрели на меня с благодарностью. «Покой, шкера... а Фишиневица буду пресекать». Я прошёлся по коридору и заглянул за дверь с табличкой «Изолятор» (под табличкой кто-то нетвёрдой рукой вывел: «Изасратор»).

Передо мной открылась узкая длинная комната со стенами цвета загаженной морской волны и обуревающим, в прямом смысле, потолком. Четыре кровати и две тумбочки стояли вплотную к стенам, оставляя проход для половины человека. Над одной из тумбочек косо висел цветочный горшок, он брезгливо показывал маленькую Сахару, дохлую ночную бабочку и хабарик папиросы. Давно немытое окно выходило на пустырь. На кровати у окна, сопя и брыкаясь, спал Клизьма.

— Э-э... ме-е... пу-пу, — бедняга Куленис вернулся из туалета и мялся у меня за спиной.

— Пролазь, Куленис, шагай храбро... Отдыхай, литовский брат! — разрешил я и с удовольствием закрыл за Куленисом дверь изолятора (запах там вполне соответствовал корявой надписи).

Дальше по коридору была столовая — большая светлая комната с широким столом, десятком стульев и добротным пузатым буфетом, внутри которого — увы! — пылились медицинские брошюры. Окна столовой выходили на заснеженную лесистую сопку; на стенах висели две репродукции в золочёных витиеватых рамках: окровавленные матросы Дейнеки били немецких фашистов, с ненавистью глядя на шишкинских медвежат.

Холодный, но чистый и свежий воздух палаты порадовал меня. Я разложил на свободной кровати одеяло, бросил в изголовье шинель, сунул в тумбочку книги... «Отдыхаем, ребяташки, — отметил про себя, — в холода, да под двумя одеялами... Хорошо!.. Эге, здесь и книжки читают». Под кроватью валялась растрёпанная книжка в бумажной обложке, я поднял её, прочёл: Е. Г. Халява, Г. М. Кобылович «Партизанщина Ульского района». С фотографии на обложке нагло зырил небритый молодец в шапке-ушанке и ватнике, руки молодца сжимали немецкий танковый пулемет.

«До-о свидания!» — я отбросил партизанскую растрепуху. Я упал на кровать, заложил руки за голову, вытянул ноги. Стремительные полумысли-полумечты вспыхивали, разлетались во времени; холодок бежал по телу, оглаживал лицо... Я ощущал себя дирижаблем...

В палату просунулась Фишкина голова.

— Случилась неприятность, Сергей, — сказал Фишка. — В санчасть звонит Сокол и требует позвать тебя к телефону.

— Ладно, Володька, — замечательное настроение сделало меня уступчивым, — пойдём, послушаем твоего собакоеда.

Трубка полевого телефона, казалось, подпрыгивала на тумбочке от оглушительной потелефонной ругани вперемешку с пьяным хохотом. Я взял трубку.

— Эй! Фью!.. Фишка! — орал на другом конце провода Сокол. — Ты это... жид... ха-ха-ха!.. ев... еврей... Эй! Где Веточкин?!

— Здесь я, здесь. Хватит орать.

— А-а, Серёга! — заорал ещё громче Сокол. — П... привет... мы это... у Рагима чифаним. Нет, ты представляешь, какая собака! Раз... Разюншнарцер... Ха! Правильно говорю?

В трубке зашуршало, заскрипело, потом я услышал далёкий голос Рагинова: «Нэт!.. та... Гулай тыха, свинка...»

— Это ты свинка, ты! — опять заорал Сокол. — Горный ты свин! Ха-ха!.. Серёга, тебе собачатины принести?

— А пошёл ты... — я со злостью швырнул трубку.

Пока я наслаждался «песней» Сокола, Фишка уснул, привалившись к батарее. «Самое время разведать обстановку в штабе, — решил я, взглянув на часы, — свинячий капитан уже дома — попробую».

— Тирада, — словно кругленький пузырьёк влетел мне в ухо, лишь только я повернул ручку телефона. — Тирада... Ну, говорите же, говорите. Слушаю вас. Безобразия! — пузырьёк разбила вдребезги очередь высокочастотных звуковых волн.

Зиночка, Зинуля, Зинаида Ильинична... Вольнонаёмная армейская служащая, сорокалетняя женщина-булочка, сдобная, румяная, чуть зачерствелая...

— Вы надумали говорить? Надумали говорить? Вас спрашиваю!

— Зинаида Ильинична, это я, Веточкин.

— Веточкин, — Зиночка явно симпатизировала мне, я же на её симпатию ответить не умел, поэтому разговор со мной она всегда начинала с томного обращения и заканчивала ругачей скороговоркой: — Кто же как не Веточкин. Как безобразия — Веточкин. Не отвечает он. Думаешь, мне делать нечего? Все звонят, звонят. Я вообще не хочу с тобой разговаривать, пусть Ударцев с тобой разговаривает.

— Гы... — взявший трубку Сашка Ударцев веселился командирскому позору. — Привет, Серёга... гы!.. Как ты там?

— Там, как там. Моё дело, — проворчал я. — Ты Адрову доложил?

— Ага, доложил, — выговорил Сашка. — Я отчётливо представил его глумливую рожицу.

— И что он?

— Кто он?

— Папа Римский! Что Адров сказал?

— Адров сказал следующее... — Сашка выдержал паузу и с расстановкой произнёс: — Пусть подышает, козёл вонючий. Пользы от него, как от козла говна... Слышишь?

— Слышу... Только бессмысленно получается — молока, наверное.

— Нет! — возразил ликующий Саша. — Говна!

— Сам ты, Саша, говно! Вот выпишусь, первым делом дам тебе в глаз.

— За что это?

— За то самое!

Брошенная мной трубка отколола от корпуса телефона кусок эбонита.

— Вас слушает дневальный по санчасти матрос Фишиневич! — закричал проснувшийся Фишка.

Я с сердцем плюнул на пол. «Нет... К чёрту! В палату, на кровать, укрыться потеплее и читать, читать, отчитываться от всего ненужного...» Из изолятора вынул сонную физиономию Клизьма:

— Что случи...

— Брысь! — крикнул я. Дверь в изолятор тут же захлопнулась.

Я пришёл в палату, залез под одеяло, выхватил из тумбочки книгу, уже пропахшую медициной, и... и понял, что читать не смогу, хоть взорвись. Разум отказывался принимать игру слов и фраз — иллюзия не возникала. То ли злость была виновата, то ли разрешённое правом чувство слабости. Перед глазами проносились воспоминания, в них курсировали одноклеточные организмы: дырявые оболочки, кисель — цитоплазма, ядра — открытые вздыхающие рты. «Первые признаки шизофрении, — подумал я. — Буду смотреть в окно, пока не усну».

За окном летала, колдуя, многоснежная метель. Белая сопка невесомо раскачивалась в ранних сумерках. Окно звенело от ветра, звало в сон. Казалось, вымели ветра землю из-под санчасти — и летит сплюснутый, похожий на бункер дом над казармами, над штабом... за леса... за моря...

«Дне-евальный по санчасти ма-атросик Фишиневич. Дне-евальный по санчасти...» — Фишка поёт. На лице у Фишки мечтательное выражение: глупая улыбка, взор к небесам, а на ногах — Господи! — белеют, поблёскивают золотинками восхитительные шерстяные носки, аж до самых колен. Гольфы!.. Ризеншнауцер, чёрный, бородатый, в глазах и фигуре достоинство хорошей породы, бежит иноходью мимо меня. На всех четырёх лапах ризеншнауцера белые носки... «Ребята! Друзья! — кричу я и плачу. — Я тоже хочу носки. Хочу больше всего на свете!» — «Пошёл вон, козёл вонючий! — орёт ризеншнауцер голосом капитана Адрова. — Гав-гавна тебе, а не носки! Гав-гав-гавна!» Он скалит зубы и трясёт стриженной бородой. «Нет у него национальности», — Аллочка Пахно машет на меня рукой... Небритый молодец в ватнике целится из пулемёта и цедит сквозь зубы: «Эх, ты, халява...» Я прыгаю в серый полусвет, лечу в нём, не испытывая ни страха, ни радости от полёта, лечу...

— Серёга... чо так... пора, — кто-то звал меня, кто-то трогал меня за плечо.

Просыпаться окончательно не хотелось — я перевернулся на другой бок.

— Серёга, что ты... ну, чо... ужин исть...

Ужин? Ужин меняет дело. Голодный организм заволновался, требуя реальности. Я открыл глаза и сел на пискнувшей кровати.

Передо мной на фоне полного метели окна раскачивалось привидение деревенского вида. Длиннорукое тело без ног зависало в метре от пола,

мерцающая ровными светлыми полосами; огромная тыквообразная голова витала отдельно от туловища; крошечные глазки отсвечивали уличный фонарь мистическими огоньками... «Вот это реальность», — подумал я.

— Подъём! Покойники палаты номер раз, па-адъём! Скелеты навывнос! — дверь с шумом распахнулась, и в палату ввалился развесёлый пьяный Сокол.

Свет из столовой разоблачил привидение: оно оказалось всего лишь эпилептиком Егором в тельняшке навывпуск.

— Братки — морская пехота! — зывал Сокол. — Дерябнем мы или не дерябнем?.. Прошу к столу!

Столовая имела вид домашний и праздничный. На столе бачок с парящей картошкой, мерцающие под столом бутылки... По влажному полу двигались электрические зайчики, буфет солидно позванивал стёклами, даже героические матросы Дейнеки смотрели почти доброжелательно на шишкинских медвежат.

— Дождалися, — сказал Лазарь и, нагнувшись, достал из-под стола длинношеюю бутылку-первенца ёмкостью в один литр.

Куленис и Клизьма чинно сидели за столом. Клизьма изо всех сил изображал бывалость: надувал щёки, посвистывал носом, медленно убирал со лба пушистую прядь. Куленис напоминал дебиловатого жениха-хуторянина из прибалтийского фильма, уши его приобрели бордовый окрас и торчали торжественно. Пьянка одушевлялась богиней именем Виктория, по прозвищу Шерстяная, — существом вида мужского, пола женского, нутра дремучего, но очень доброго. Доброта Виктории была беспомощной и безграничной, на неё отвечали шумной привязанностью деревенские дворняги и коты, ею нагло пользовался озабоченный служивый народ.

Итак, «33» портвейн бурел в гранёных стаканах, соблазняя просвещённых тайной сладостью, блестящая от жира картошка развалилась на тарелках явной вкушнотой...

— Тост, — Сокол высоко поднял стакан с вином и искоса взглянул на Викторину. — За прс... присутствующих здесь тётки!

Все выпили, причём Клизьма так лихо тяпнул, что Лазарь уважительно произнёс:

— Душара...

После первого стакана пили без тостов. Мне очень понравилось закусьвать портвейн тушёной с мясом картошкой: вкусно и опьянение дополняется чувством сытого благодушия. Я быстро оказался в состоянии жидкого пространства, где всё смешано, всё хорошо и на всё наплевать. Отчётливо помню только замороженный сортир: острые льдины, разорвавшие металл батареи, унитаза, монументально вмёрзший в глыбу зелёного льда, бачок в красивой снежной шапке и ледяная дуля, торчащая из-под бачка.

Смутно помню, как Сокол, выпитив зад и раскинув руки, прыгал по столовой, как Лазарь швырялся хлебом в «зверуг патлатых» — шишкинских медвежат, как, уткнувшись носом в тарелку, спал Клизьма... как я, пьяненький, добрый, глупый, читал стихи Виктории... «Есть лица, подобные пышным порталам...» Глаза у Виктории были испуганные и мокрые, как у коро-

вы... шатались стены, пол уходил из-под ног, а Щелкунчик-Фишка смеялся надо мной, и... и реял парусом потолок...

Человеком приблизительно я осознал себя глубокой ночью в изоляторе. Я умирал на кровати под цветочным горшком, который показывал мне маленькую Сахару,дохлую бабочку и хабарик папиросы. Кровать напротив использовали под насест Куленис и Клизьма; лица у обоих были остренькие, выражение на лицах — плаксивое. На кровати у окна валялся Лазарь; гитара в его руках стонала, как безногая жертва. Подлец Сокол раскорячился на подоконнике: изломался, выгнулся, пятку грязную выставил — смотрите, дескать, пожалуйста.

Метель ночью разыгралась вовсю. Она завывала, гудела, билась в окна тысячей льдинок, обдувала, окутывала санчасть...

— У-у бэ-эды гла-аза зелё-онные... Пошла ты! — Лазарь отбросил гитару.
— Дол-дон! — ругнулась она с пола.

Единственным довольным жизнью существом был в изоляторе Фишка. Он наслаждался неспособным к агрессии обществом, ёрзал на тумбочке и ждал случая поговорить.

— Фишиневич, — позвал я, — дай попить.

— Воды? Попить? Секундочку, — Фишка соскочил с тумбочки и выбежал в коридор.

— На здоровье, Серёжа, H²O, пей, сколько хочешь.

Пока я глотал тёплую стоялую воду — услужливый дурак набрал её не в умывальнике, а, для быстроты, из покрытого плесенью графина в коридоре, — Фишиневич читал мне мораль:

— Очень вредно, Серёжа, пить много вина. И не помогает пьяная радость, может, кажется, но не помогает. После пьянки плохо, потому что портится мозг. Молекулы спирта закупоривают кровеносные сосуды, а сивушное маслице...

— Что сивушное?

— Сивушное маслице.

— Хи... сказал... хи-хи... — через боль хихикнул я.

— Да, сказанул, — подтвердил Сокол.

Фишка запрыгал от радости. Вот он — случай: с ним разговаривают, смеются.

— Маслица-а, маслица-а!.. — запел он, пританцовывая.

— Эй, Вольдемарус, — крикнул повеселевший Сокол. — Тише ты. Стой! Ты вообще петь умеешь?

— Я?! — Фишка изобразил удивление, как истинный арлекин: не переставая улыбаться, вскинул брови и вытаращил радостно-придурковатые глаза. — Я пою отлично! Мне Эльвира Сидоровна, школьная учительница по пению, говорила: «Вам, Володенька, необходимо петь. У вас классический голос».

— Ты спой, Володенька, классическим, — попросил Сокол.

— Спою, пожалуйста. Спою, что вы хотите. А что вы хотите, чтобы я спел?

— Всё равно, Володенька, всё равно...

— Ария молодого герцога из оперы «Риголетто». Исполняет Владимир Фишиневич, — объявил Фишка.

— Серд-це кра-са-виц склон-но к из-ме-не и к пе-ре-ме-не, как ве-тер в ма-ае...

Как он пел!.. Сокол, хохоча, скакал по кровати, бил по спине зашедшегося в клокотании Кулениса. Басистое «гау-га» Лазаря смешалось с хлебачущими звуками Клизьмовой радости. Я старался держаться, но ничего не получалось — я трясся, извивался и плакал жгучими похмельными слезами.

Фишка пел в экстазе, ни на кого не обращая внимания. Его ноги выписывали на полу невообразимые кренделя, руки выворачивались, сплетались, бросали вверх порхающие ладошки. Лицо исчезало в вихре меняющихся выражений: на кадыкастой шее зияло противное видимости нечто, в котором то появлялись, то пропадали два сумасшедших глазных шара.

— Дай счастья мне! Мне-е, той женщине, кото-орая...

Да, у него был голос... Сквозь «изосраторное» пространство неслись пронзительные торжествующие и жалобные, визгливые и лающие звуковые потоки. Они хрипели жлобством и дребезжали иронией. Они морили хохотом нас, обитателей... Когда смех утих, а Фишка всё пел и пел, мне представилось, что голос его сродни метели, бьющейся в окно; что поёт он так странно потому, что вымели ветра землю из-под санчасти — и летит в метели санчасть... Летит в метели моего времени...

С тех пор прошло много лет. Иногда по ночам тоска влезает в меня, как железные плечики в ставший ненужным костюм. Душа и слаба, и пуста, и першит горло третья подряд папироса... Тогда я смотрю в темноту за кухонным окном, долго смотрю, пока не прилетит спасительница метель, не прижмёт к окну череду прожитых дней и не впустит меня туда осторожным божеством.

Я вхожу в санчасть, подмигиваю нарисованным паразитам, захожу в изолятор, где хохочут обитатели и поёт, орёт, пляшет неудержимый Фишка; я заваливаюсь на свободную для меня кровать, чтобы ещё раз плеснуть душой и воспарить счастливым гадом над казармами и штабом, над проклятой Богом и забытой правительством деревней Раздольное, над болотистой равниной жёлтой речки Суйфунь.